Максим Горький

Неудавшийся писатель

Максим Горький
Неудавшийся писатель
Серия «Заметки из дневника. Воспоминания», книга 12

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=640505

Аннотация

«Ночью, в грязненьком трактире, в дымной массе полупьяных, веселых людей, человек, ещё не старый, но очень помятый жизнью, рассказал мне:

– Погубил меня телеграфист Малашин…»

Максим Горький
Неудавшийся писатель

Ночью, в грязненьком трактире, в дымной массе полупьяных, веселых людей, человек, ещё не старый, но очень помятый жизнью, рассказал мне:

– Погубил меня телеграфист Малашин.

Наклонил голову в измятой кепке жокея, посмотрел под стол, передвинул больную ногу свою, приподняв ее руками, и длительно, хрипло вздохнул.

– Телеграфист Малашин, да. Благочинный наш именовал его нелепообразным отроком, девицы – Малашей. Был он маленький, стройный, розовые щеки, карие глаза, брови – темные, руки – женские; писаными красавцами называют таких. Веселый, со всеми ласковый, он был очень заметен, даже, пожалуй, любим в нашем городишке, где три тысячи пятьсот жителей не спеша исполняли обыкновеннейшие обязанности людей. В двадцать лет от роду моего проникся я скукой жизни до немоты души; очень уже раздражала и даже пугала меня тихая суета людей, непонятен мне был смысл этой суеты, смотрел я на всё недоуменно и однажды, в порыве чувства, написал рассказ «Как люди живут». Написал и послал рукопись в журнал «Ниву». Ожидал решения судьбы неделю, месяц, два и махнул рукой: эти штучки не для нашей внучки!

– А месяца через три, может быть, и больше, встречаю Малашина. «У меня, говорит, для тебя открытка есть». Подал мне открытое письмо, а на нем написано: «Рассказ Ваш скучно написан, и его нельзя признать удачным, но, по-видимому, у Вас есть способности. Пришлите еще что-нибудь».

– Не стану говорить, как я обрадовался. Малашин любезно рассказал, что открытка уже третий день у – него. «Случайно, говорит, захватил на почте, чтоб передать тебе, да все забывал. Так ты, говорит, рассказы пишешь, в графы Толстые метишь?»

– Посмеялись и разошлись. Но уже в тот же день, вечером, когда я шел домой, дьякон, сидя у окна, крикнул мне: «Эй, ты, писатель! Я т-тебя!» И погрозил кулаком. В радости моей я не взвесил дьяконов жест. Знал я, что это человек фантастический: в молодости он стремился в оперу, но дальше регента в архиерейском хоре не пошел и в губернии не мог составить карьеры себе, страдая наклонностью к свободе действий. Пил он и в пьяном виде, на пари, бил лбом грецкие орехи, мог разбить целый фунт орехов, так что кожа на лбу у него лопалась. Носил в кармане железную коробочку с продухами, летом – для лягушат, а зимою – для мышей, и, улучив удобную минуту, пускал зверюшек этих дамам за шивороты. Шутки эти прощались ему за веселый его нрав и за то, что он удивительно знал рыбий характер, чудесный был рыболов! Но сам рыбу не ел, боясь подавиться костью, и пойманное дарил знакомым, чем весьма увеличивал любовь

к нему.

– Так вот – обрадовался я. Был я в ту пору юноша скромный, характера задумчивого, собою некрасив.

Он прижал губами жиденькие выцветшие усы, прищурил желтые белки скучных глаз и дрожащей рукою стал бережно наливать рюмку водки. В двадцать лет он был, вероятно, неуклюж, костляв, серые вихрастые волосы его были, видимо, рыжими, мутные глаза – голубыми. И – множество веснушек на лице. Теперь его дряблые щеки густо исчерчены сложным узором красных жилок, сизый нос пьяницы печально опускался на усы. Водка уже не возбуждала его. Он бормотал натужно и как бы сквозь сон.

– Почувствовал я себя красавцем, значительной фигурой. Еще бы: имею способности редкого качества! Душа моя запела жаворонком. Начал жестоко писать, ночи напролет писал, слова с пера ручьем текут. Радость! Замечаю, что горожане стали смотреть на меня особенно внимательно. Ага, думаю…

– Малашин пригласил меня в гости к акцизному, а у того – дочь, бойкая такая барышня. Ну и еще разная молодежь. Интересуются мною, спрашивают: «Пишете? Пожалуйста – чаю! Внакладку!»

– «Ого, думаю, внакладку даже?!» Размешивал чай ложечкой, хлебнул – что такое? Солоно. Так солоно, что даже горько. До отвращения. Все-таки пью, по скромности моей. И вдруг все, хором, захохотали, а Малашин просмеялся и го-

ворит: «Как же это? Писатель должен уметь различать все вещи, а ты соль от сахара не можешь отличить, как же это?»

– Я сконфузился, увял: эх, думаю… «Это, говорю, шутка, конечно…»

– Они еще больше хохочут. Потом стали уговаривать меня, чтоб я стихи читал, – я и стихи сочинять пытался. Малашин знал это. Уговаривают: «Поэты в гостях всегда стихи читают, и вы обязаны».

– Но тут мордастый сын головы вмешался; сказал: «Хорошие стихи пишутся только военными».

– Барышни стали доказывать ему, что он ошибается, а я незаметно ушел. И с этого вечера всем городом начали меня травить, как чужую собаку. В первое же воскресенье встретил я дьякона, идет с удочками, попирая землю, как чудовищный слон. «Стой, – кричит. – Пишешь, дурак? Я, говорит, три года в оперу готовился и вообще не тебе чета, а ты – кто? Муха ты! Такие, говорит, мухи только засиживают зеркало литературы, сволочь…» И так изругал меня, что мне даже обидно стало. «За что?» – думаю,

– Через некоторое время тетка моя – я сирота, у тетки жил – «Что это говорят про тебя, будто пишешь ты? Бросил бы, тебе жениться пора…»

– Пытался я объяснить ей, что в деле этом ничего зазорного нет, что даже графы и князья пишут и вообще это занятие чистое, дворянское; но она заплакала; взывает: «Господи, и кто, злодей, научил тебя этому?»

– А Малашин, встречая меня на улице, орет: «Здравствуй, без четверти граф Толстой!» Сочинил глупенькую песенку, и, при виде меня, молодежь города зудит:

Все пташки, канарейки
Прежалостно поют,
Хотя им ни копейки
За это не дают…

– «Эх, думаю, попал жук под копыто!» Так дразнят – на улицу показаться нельзя. Особенно – дьякон, освирепел, того и жди, отколотит. «Я, рычит, три года, а ты, негодяй…»

– Бывало, ночами, сижу я над рекой, соображаю: «Что такое? За что?»

– Над рекой уединенное место было, мысок, и на нем ольховая роща, так я заберусь туда и, глядя на реку, чувствую, будто вода эта темная, омыв город, сквозь мою душу течет, оставляя в ней осадок мутный и горький.

– Была у меня знакомая девушка, золотошвейка, ухаживал я за ней с чистым сердцем, и казалось, что я тоже приятен для нее. Но и она стала кукситься, осторожно спрашивает меня:

«Правда, что будто вы что-то написали в газеты про нас, про город?» – «Кто вам сказал?» Поежилась она и рассказала:

«Писательство ваше у Малашина в руках, и он его всем читает, а над вами смеются и даже хотят бить, за то, что вы

графу Толстому предались. Зачем вы Малашину дали писательство это?»

– Подо мной земля колыхнулась: у-ю-юй, думаю. Там у меня и про акцизного, и про дьякона, про всех, без радости, говорится. Конечно, несчастное писание мое я Малашину не давал, он сам взял рукопись на почте. Тут любезная моя еще подлила мне горечи: «За то, что я гуляю с вами, подруги смеются надо мной, – так что я уж не знаю, как мне быть». Эх, думаю я.

– Иду к Малашину. «Отдай рукопись, пожалуйста!»

– «Ну, зачем она тебе, говорит, если ее забраковали!»

– Не отдал. Нравился мне этот человек; замечаю я, что как ненужные вещи приятнее полезных, так же иногда приятен нам и вредный человек. И еще пример: нет битюга дороже скаковой лошади, хотя люди живут трудом, а не скачками.

– Наступили святки, пригласил меня Малашин рядиться, нарядил чертом, в полушубок шерстью вверх, надели мне на голову козлиные рога, на лицо – маску. Н-ну, плясали мы и все прочее, вспотел я и чувствую: нестерпимо щиплет мне лицо. Пошел домой, а меня на улице обогнали трое ряженых и кричат: «Ох, черт! Бей его!»

– Я – бежать. Конечно – догнали. Избили меня не сильно, но лицо горит – хоть кричи! Что такое? Утром подполз я к зеркалу, а рожа у меня неестественно багровая, нос раздуло, глаза опухли, слезятся. Ну, думаю, изуродовали! Они маску-то изнутри смазали чем-то едучим, и когда вспотел я,

мазь эта начала мне кожу рвать. Недель пять лечился, думал – глаза лопнут. Однако – ничего, прошло.

Тогда я догадался: нельзя мне оставаться в городе. И тихонько ушел. Гуляю с той поры вот уже тринадцать лет.

Он зевнул и устало прикрыл глаза. Он казался человеком лет пятидесяти.

– Чем вы живете? – спросил я.

– Конюх, служу на бегах. Даю материал о лошадях репортеру одному.

И, улыбаясь медленно, доброй улыбкой, он сказал:

– До чего благородные животные лошади! Сравнить не с чем лошадей. Только вот одна ногу разбила мне…

Вздохнув, он тихо добавил, точно строчку стиха прочитал:

– Самая любимая моя…